

## ЯСЛИ

Память человеческая... Что хранит она в своих кладовых? Устремленный Устремлённый вниманием в окружающий нас мир, столь блестящий и пестрый пёстрый в его многообразии, я редко опускаюсь умом в сокровенные подвалы памяти. Между тем, в её заветных глубинах обретаются иногда подлинные сокровища, ценность которых лишь возрастает со временем...

Господи, Тебе ведомо все всё из прошлого и будущего судеб человеческих... Ты силен силён озарить мое моё сознание и воскресить в памяти то, что, кажется, безвозвратно кануло в Лету...

Помню себя в яслях – так называлось детское учреждение, принимавшее в свои недра младенцев, родители которых не имели возможности нянчить детей в течение трудовой недели. Это была так называемая «пятидневка». И сейчас я всегда вспоминаю ясли, когда до ноздрей доносится казенный казённый запах хлорки, рас-

твором которой нянечки середины XX века усердно промывали кафельные полы в детских туалетах.

Как пронзительно одиноко чувствовала себя душа, вдыхавшая устойчивые ароматы воспитательных учреждений! Слава Богу, что рядом был братец-близнец, общение с которым не давало мне раствориться в коллективе и напоминало о милом доме, удалявшемся от нас на бесконечное расстояние в эти нескончаемые дни пребывания в яслях.

Не думаю, что воспитательницы были грубы или бессердечны в общении с малышами. Все Всё в яслях текло по раз заведенному заведённому порядку: сон, еда, прогулки, игры, опять сон. Только, как ни странно, память почти ничего не сохранила из той жизни, где обслуживающий персонал действовал в рамках однообразных инструкций и правил; а малыши обреченно обречённо повиновались взрослому, ибо иначе вести себя было невозможно. Да, случались неприятности (именуемые «детскими неожиданностями»), бывали огорчения, по

причине ссор и всевозможных недоразумений; наверняка, раздавался и счастливый смех в минуты досуга... Река времени унесла с собою все. Но есть то, что сердце помнит и доныне, лелея, как величайшую драгоценность, мгновенно согреваясь теплотой любви при мысленном обращении к одной и той же картине далекого далёкого прошлого... Вот она!

Подходит к концу день пятый, потому и именуемый на Руси пятницей. Большинство детей уже разобрано родителями. Мы с Митенькой, белобрысым братом-близнецом, умилительно подстриженным «под горшочек», пребываем в напряженном напряжённом ожидании, которое возрастает с каждой минутой. Телом в яслях, мыслями мы уже давно дома, в родной до боли обстановке скромной московской квартиры с детской комнатой, которая вмещала в себя целую вселенную. Ожидание не столько томительно, сколько сладостно, ибо мы знаем: за нами ПРИДУТ... Ещё Ещё полчаса – и – наконец!! Открывается входная дверь, на

пороге появляется МАМА... Молодая, бесконечно красивая, в черном чёрном прорезиненном пальто с пупырышками. Видя близняшек, своих «маленьких зайчиков», она раскрывает нам широкие объятия! Забыв все всё и вся: вездесущий, всепроникающий запах хлорки; воспитательницу и нянечек, с их нехитрым арсеналом слов и ухваток, ссоры и радости, огорчения и замечания, поощрения и похвалы, – мы стремглав бежим к самому дорогому существу на свете – нашей МАМЕ! Она обхватывает нас и прижимает к себе, обдавая нежным теплом, и сама плачет вместе с нами, уткнувшись, как щенята, в складки ее её платья... О чудо материнства! О несказанная радость сыновства! О счастье воссоединения с той, которая, носив нас двоих во чреве, носит и поныне в сердце своемсвоём, никогда не скудеющем любовью...

Так повторялось каждую пятницу; и каждую пятницу, во второй половине дня, мир вновь обретал для нас объемность объёмность и многоцветие. По пятницам наши

маленькие сердца исполнялись радостью жизни... В описанной мною картине созерцаю Божественный свет. Теперь мне ясно открывается ее её потусторонний мистический смысл. Нам, близнецам, являлся тогда через родного человека Небесный Отец, и мы, духовные сироты, прикасались к Его простертым простёртым дланям, прижимаясь к материнским теплым тёплым рукам....

Боже правый! Даруй Твоим крошечным созданиям, возванным через родителей к бытию, отеческую и материнскую любовь; пусть малыши всегда видят бездонные материнские очи, чрез которые Ты, Христе Спасе, глядишь в их сердца и освещаешь детские души светом Своей радостотворной любви!

## ПАВЛИН

Часто дети поражают нас своим удивительным простодушием и искренностью. Иногда они, не задумываясь, говорят то, что взрослые не имеют духу произнести. Не зря же сказано: «Устами младенца Истина глаголет истина».

Эти детские «откровения» свидетельствуют, что мы сотворены Богом по Его образу и подобию. Уста Христовы не лживы, слова Его суть непререкаемая истина и нелицеприятная правда, которая во веки та же. С другой стороны, малыши суть дети своих родителей и поэтому весьма часто проявляют те именно те свойства характера, которые всего более присущи отцу и матери. И родители ни о чем чём так не стараются, как о том, чтобы вырастить из ребёнка (иногда неосознанно) собственную копию, притом не только в отношении добродетелей, но и недостатков. Недаром же Блез Паскаль открыл замечательную закономер-

ность, справедливую как для физического мира, так и для нравственного. Уровень жидкости в сообщающихся сосудах всегда был и будет одинаковым. И все всё же... Дети суть цветы райских садов, и, всматриваясь со вниманием и любовью в нежные и прекрасные соцветия их душ, мы улавливаем не тяжёлый запах грешной земли, но тончайшие ароматы Рая рая Божия.

Однажды, совсем маленькими, мы были приглашены в московскую квартиру Ольги Игоревны Алексеевой-Станиславской (Толстой, по материнской линии), с почтенным родителем которой вы ещё ещё познакомитесь в последующих главах нашей книги. Дело в том, что у нее неё было три сына, совершенно равных нам по возрасту: старший – ровесник нашего брата Андрея, а двое других – одногодки с нами, близнецами. Хозяева отмечали какой-то семейный праздник, пригласили еще ещё и других детей; веселье к нашему прибытию только начиналось. В ожидании праздни-

ных блюд, соответствующих всем правилам восточной кухни (муж Ольги Игоревны был южных кровей), нас, малышей, провели в детскую комнату, где каждый мог найти себе занятие по интересам. Кто-то возился с конструктором, я собирал железную дорогу и катал по ней паровозики, девочки листали книжки с картинками. Приготовление азербайджанского плова затягивалось. Нужно было хорошенько протомить его в духовке. Всех детей усадили на стульчики для коллективного просмотра диафильма про павлина.

Начало диаленты не предвещало никакой драмы. Осанистый павлин с роскошным хвостом стал предметом общего внимания прочих птиц, во множестве слетавшихся на вечерние посиделки. Но вот «пернатый народ», одетый куда более скромно, решил, что павлин явно выбивался из их общества разительным контрастом своего оперения. Необходимо сказать, что советская мораль 60-х годов XX века всего прежде воспитывала в гражданах чувство коллективизма, которому претили какие-либо попытки

выделиться из общей массы скромных и честных тружеников. Все Всё у нас должно было быть, «как у всех» – от идеологических убеждений до размеров дачных участков и располагающихся на них строений.

Но вернемся вернёмся к диафильму, который, затаив дыхание, кадр за кадром смотрели милые дети. Ситуация для павлина, не успевшего сделать ничего плохого (не виноват же он, что у него вырос замечательный изумрудно-синий веерообразный хвост!), приняла угрожающий оборот. Птичий товарищеский суд произнес произнёс свой приговор в отношении гордого индивидуалиста. Каждая птица, от воробья до грача, должна была выказать полное презрение к павлину, вытянув у него из его чудохвоста по одному перу. Что и незамедлительно было исполнено. В последних кадрах диафильма павлин представлял перед нами обшипанной пуляркой, дрожавшей от холода и уничтожения.

По мысли создателей диафильма, маленькие и взрослые его зрители должны были

облегченно вздохнуть, осудив павлина, как это сделал весь птичий базар. Оставалось только радоваться тому, что «советская» справедливость» восторжествовала. Виновный был достойно наказан, а пернатые товарищи с чувством глубокого морального удовлетворения разошлись по своим домам, притом, что каждый участник «гражданской казни» уносил в клюве синеокое павлинье перо, на память об этом достойном событии.

Диафильм закончился. Дети, получив задание, уже были готовы встать со стульчиков... как вдруг раздался истошный вопль. Мой белобрысый, щекастый братик Митенька зашелся зашёлся в рыданиях, да так, что слезы слёзы в три ручья лились из его глаз...

– Что такое? – сбежались взрослые, оставив жаренье и паренье. – Тебе прищемили стулом палец?

– Не-е-ет!

– Ты укусил свой язычок?

– Не-е-ет!

– Головка болит, животик?

– Не-е-ет!

– А что же?

– Па-а-вли-и-ина жа-а-алко!

Вот этого не ожидал никто... Разве можно было подумать, что мирный детский диафильм доведет до иступления малыша, трепетно следившего за развитием действия?! Ничто, никакие попытки успокоить рыдающего Митеньку не имели успеха:

– Скоро у павлина отрастет отрастет еще ещё лучший, самый прекрасный в мире хвост!

– А зачем надо было этот вырывать? – над-рывно и вместе с тем резонно отвечал Митенька, не переставая плакать...

Наконец, хозяин дома радостно объявил, что плов готов и уже разложен по тарелкам. Услышав приглашение, братец перевел перевёл дыхание и вопросительно посмотрел на меня... Через минуту мы уже сидели за детским столиком и в полном молчании уплетали вкуснейший плов. Митенька рас-

краснелся от своих трудов, а резинка колготок все всё глубже входила в его упругий животик. Он, умело орудуя вилок, только повторял: «Еще Ещё мяса, еще ещё паковки». Еще Ещё мяса, еще ещё паковки». Все умирились и обрели долгожданный покой. Слезы Слёзы на глазах сострадательного Мити просохли, и на его раздумявшемся лице – настоящего мужчины – появилась жизнеутверждающая улыбка...

Не знаю, какие выводы сделали для себя взрослые, показавшие нам этот диафильм, но я, будучи очевидцем всего происшедшего на детском празднике сорок пять лет тому назад, подробно описал сегодня для вас, дорогие мои читатели, эту невымышленную историю... Как ни ряди, а павлина, действительно, жалко...

## МУЗЫКА

Редко, но встречаются люди, от рождения одаренные одарённые феноменальным талантом. Таков был мой братец Митя, для которого музыка стала жизнью.

Обнаружил он свой дар совершенно неожиданно. Еще Ещё будучи ползунками, мы часто натыкались на различные бытовые предметы и играли с ними. В ход шло всё: мячики, кубики, карандаши, крышки от кастрюль.

Однажды, заполучив две крышки, а может быть, крышку и ложку, Митенька ударил их друг об друга. Звучание металлической крышки привело его, годовалого малыша, в изумление. С вытаращенными от радости глазенками глазёнками он еще ещё и еще ещё раз производил чистый металлический звук и напряженно напряжённо вслушивался в него, приблизив «музыкальный инструмент» к уху...

Как-то, Когда нам с братом было по три года, как-то мы с бабушкой оказались перед

запертой дверью собственной квартиры и попросились (просила, конечно, она) к добрым соседям, жившим этажом выше. Именно там Митенька впервые увидел пианино и, самостоятельно открыв крышку, прилип к нему... навсегда.

По счастью, соседка была незаурядной учительницей музыки и тотчас распознала в брате дарование...

Этот визит определил всю его дальнейшую судьбу. Забегая вперед, скажу, что уже в 7 семь лет он был пианистом-исполнителем, умевшим воздействовать своей игрой на взрослую аудиторию.

Митенька получил в детском саду привилегию – во время общего гуляния на свежем воздухе та самая соседка-учительница забирала его на индивидуальные занятия к себе домой, благо, садик находился во дворе дома.

Помню, как он возвратился в нашу группу с раскрасневшимся от вдохновения лицом и, обращаясь ко мне, с замиранием сердца поведал о дарованном ему «откровении»:

«ТемкаТёмка, ты представляешь, есть такая нота – “соль”...».

Перед моим мысленным взором возник миниатюрный холмик поваренной соли, а рядом – столь похожая на него горка сахара. Я грубо оборвал Митеньку тоном, не допуская никаких возражений: «Все Всё ты врешьврешь!».

Кажется, грубость ответа обусловлена была непонятным и весьма неприятным для меня чувством, возникшим оттого, что у брата появилось в жизни что-то совершенно от меня сокровенное. Думаю, что на русском языке это называется зависть... А может быть, ревность, смешанная с детским самолюбием.

Бабушка, чутко за нами наблюдавшая, выпросила у Ирины Николаевны (учительницы музыки) разрешение привести и другого брата-близнеца на ее её удивительный урок. Я запомнил его на всю жизнь, хотя так и не стал «служителем музы».

«ТемочкаТёмочка, нажми вот на эту ноту-клавишу, – просила меня наша соседка, – и

послушай, что она тебе скажет...»

Я послушно и трепетно нажимал пальцем на клавишу.

«Слышишь? Ты чувствуешь, как звук, выходя из-под твоей руки, словно птица, поднимается над инструментом и, сделав два-три круга, вылетает из окна. Смотри, он, подхваченный ветерком, уже парит над газоном, клумбами...»

Я напряженно напряжённо смотрел в полураспахнутое окно и оглядывал наш двор с детским садом, огороженным высокой решеткойрешёткой.

«...А звук поднимается выше, выше, и летит далеко-о-о, за горы, за доли и растворяется где-то в лесах, у самого синего моря...»

Узнав об удивительном поведении звуков, я, однако ж, не прилагал должного усердия в заучивании пьесок, которые Митенька схватывал на лету... Дистанция между нами стремительно увеличивалась. Но в отличие от Сальери, я не стремился упорным трудом сравняться с единоутробным «Моцартом»...

Брат восходил по ступеням совершенствования, пока я пресмыкался в тщетных попытках преодолеть собственные строптивость и лень, вылезавшие наружу всякий раз, когда нужно было садиться за инструмент.

Апофеоз моих «страданий» пришелся пришёлся на тот момент, когда Митя готовился лететь (первый раз в жизни!) в неведомый город Тбилиси для участия в конкурсе юных музыкальных талантов.

Уже в аэропорту бабушка и я с волнением стояли близ братца, как наконец тот, белокрысый, с веснушками, весь светившийся от счастья, помахав нам ручкой, шагнул за черту, которая отделяет пассажиров от провожающих.

О, как защемило мое моё мальчишеское сердце! Не выдержав обуревавших меня чувств, я громко заплакал. Впервые жизнь разлучила единоутробных братьев, для которых целый мир всегда делился на равные половинки.

Уткнувшись носом в Булиноб пальто, я

безутешно всхлипывал, оплакивая Митенькин талант, крылья которого уже несли братца в солнечную Грузию...

Бабушка с родителями впоследствии «соватали» мне игру на скрипке (в которой, по правде сказать, я достиг известных успехов), а потом и на флейте.

Отроческий возраст принёс увлечение футболом, и кожаный мяч окончательно выбил из меня остатки музыкальной гармонии, поначалу столь ясно звучавшей в юной душе...

Тогда, в аэропорту, мне еще ещё не приходило на ум, что вовсе бесталанных людей не бывает. Я не умел благодарить Создателя за Его дары, сиявшие в душах окружающих людей. «У Бога всего много», а каждый из нас премудро сопряжен сопряжён с ближними и родственными, и дружескими, и духовными узами...

Изобилие одного восполняет скудость другого. Ущербный в одном может оказаться бесконечно богатым в чем-то другом.

«Мы связаны «круговой порукой любви-добра» 7, – сказала известная русская поэтесса по слову безвестной монахини Новодевичьего монастыря. Сама жизнь свидетельствует, что все мы без исключения нужны друг другу, а в многообразии душ и в присущих им неповторимых дарований дарованиях прославляется общий Творец, вложивший в нас Свои образ и подобие...

7 Выражение взято из стихотворения монахини Новодевичьего монастыря, жившей в XIX веке:

...Всё же вы не слабейте душою,  
Коль придёт испытаний пора.  
Человечество живо одною  
Круговую порукой добра...

## НЕЗАВИСИМОСТЬ

Продолжая воспоминания о детстве, отмечу одну замечательную черту в характере своего единоутробного брата Мити – самостоятельность суждений. Он никогда не вписывался в общие, стандартные рамки поведения и менее всего был склонен к растворению или просто нивелированию своей личности в бездушном коллективе. И это – с самых нежных лет! Думаю, что независимость своего внутреннего склада он унаследовал от бабушки, которая была чужда советского духа.

Как-то в конце ноября, мы с бабушкой вышли на прогулку из подъезда нашего дома, близ метро Профсоюзная. Митенька сразу обратил внимание на огромную блестящую правительственную «Волгу» иссиня-черного чёрного цвета, почему-то заехавшую в наш мирный двор. Машина стояла у подъезда во всём её великолепии. Сверкали хорошо вычищенные диски колёс, что, между прочим, и поныне го-

ворит опытному глазу об особом уходе за автотранспортным средством, и не какого-нибудь частного, а определенной определённой ведомственной организации. Шел Шёл первый снежок, что создавало праздничное настроение, и наша черная чёрная гостя уже была покрыта тонкой пеленой девственных снежинок, с доверием приземлившись на правительственный автомобиль. Недолго думая, братец, всегда отличавшийся своейобладавший творческой натурой, подошел подошёл к экипажу и единым движением указательного пальца оставил на багажнике свой автограф – «Митя», – снабдив его затейливым завитком... Тотчас из машины выскочил грузный водитель в белой манишке и черном чёрном костюме. Оскорбленный Оскорблённый до глубины души мальчишеской вольностью, он подскочил к братцу и, ловко поймал его за ухо, потянув потянул в свою сторону. Митенька заорал, что есть мочи! Тут уже наступил черед черёд бабушки, которая сначала лишь безмолвно наблюдала за стремительно

разворачивающимися событиями. Она подскочила к дяде, схватила его за руку, как вторая Родина-мать, развернувшись к нему всем корпусом и гневно вопрошая:

Как вы Вы смеете обижать ребенкарёбенка?!

Тот, совершенно не ожидая сопротивления, парировал вопрос своим собственным (отпустив, однако, Митенькино ухо):

– А вы Вы знаете, ЧЬЯ это машина?

Бабушка, никогда не питавшая симпатий к советской действительности, ибо родилась еще ещё при Царе-Батюшке, нимало не смутившись, громыхнула на весь двор:

– А мне наплевать на Вашу вашу машину, чья бы она ни была. ! Ибо никто не имеет право права хватать за ухо малыша, допустившего невинную шалость!

У служителя ведомства уже не было в арсенале ни слов, ни мыслей, чтобы продолжать словесную дуэль. Он замолк... думаю, только потому, что в глазах доблестной Були не увидел никакого страха.

На такой-то яблоньке выросли достойные

плоды. Действительно, и моей маме свойственна эта исконно русская честность и правдивость, неумение идти на компромисс; таков был и Митенька, всегда, по тому же свойству души, оказывавшийся в самой гуще всевозможных конфликтов.

Из недр памяти всплывает характерный эпизод. На дворе Ммарт месяц. Еще Ещё не начал сходить снег, однако весеннее тепло сделало его плотным и влажным. Наш первый класс под руководством строгой руководительницы Альбины Викторовны Повзнер отправляется на экскурсию в соседний квартал в какой-то дом-музей. По пути первоклашки, построженные парами, затеяли тайную игру в снежки. Когда несколько снежков пролетели мимо учительницы, возглавлявшей шествие, она обернулась и, сделав строгое лицо, громко приказала с металлическим напылением в голосе: «Всем бросить снежки! Говорю первый и последний раз!». Дух эпохи 60-х годов XX века был таков, что никто и не мог посметь ослушаться... Комки снега, уже за-

превшие в руках, сами собою вывалились из варежек, наподобие гитлеровских знамен-знамён, поверженных на Красной площади в 1945 году. Детская колонна продолжала кротко маршировать в неизвестном направлении, как вдруг... Альбина, с чуткостью «вооруженного вооружённого охранника» обернулась еще ещё раз – и увидела симпатичный белый снежок, доведенный доведенный до геометрического шарообразного совершенства... конечно же в руке моего милого братца! Такое преступление не могло быть забыто, прощено и оставлено без последующего наказания. ! Отвечать за недостаток смирения предстояло не только Митеньке, но и родителям....

Между тем, мы дошли до дома-музея. Оказалось, что в двухэтажном особняке (как и во многих других домах многострадальной столицы) успел побывать... Ленин. Мы вошли внутрь и устремили взоры, по указке экскурсовода, на почти что единственный экспонат музея – копию живописной картины «Ленин выступает перед

рабочими, солдатскими и крестьянскими депутатами».

Выслушав благонамеренные речи музейного работника, сказавшего восторженные слова о главном «подвижнике» революции, мы было стали собираться восвояси, как наша классная руководительница уже помягчевшим тоном спросила с педагогической, утвердительной интонацией: «Дети, всем понравилась эта картина?». Смысловое ударение было сделано на слове «всем». Мы закивали головами и замычали, в знак признания высокой эстетической ценности полотна. И тут Митенька, почему-то один имевший право на собственное суждение, громко сказал: «А мне не понравилась. Какая-то мрачная...».

Не помню подробностей разбирательства дела, могу лишь завершить повествование печальным свидетельством. Мой брат так и не смог выдержать душной обстановки эпохи и того идеологического пресса, который обезличивал более покорные, чем у Мити, покорные и «смирненные» души. Он

скончался тридцати лет от роду, в расцвете своего пианистического таланта, от внезапно посетившей его болезни, при ясном уме и твердой твёрдой памяти, в детской надежде на милость Господа.

Верю, что его душа сейчас пребывает там, где сияет вечная правда и где нет места человеческому лукавству и лести...

## Н. Н. БОБРИНСКИЙ

Обращаясь к далекому далёкому детству, мы время от времени вспоминаем тех людей, чье чье присутствие в нашей жизни стало значимым, а слово – путеводной меткой, спасительным предостережением, мудрым наставлением.

В этой главе я расскажу о Николае Николаевиче Бобринском, потомственном русском графе, близком друге моей мамы. С семейством Бобринских мы (Митя и Тема-Тёма) познакомились тогда, когда бабушка привела нас в гости к Марии Алексеевне Бобринской, урожденной урождённой Челищевой, чуть едва ли не последней фрейлине Императрицы-Мученицы. Я помню эту красивую, спокойную пожилую даму (язык бы не повернулся назвать ее её старухой), с безупречной осанкой и приветливым лицом. Она ютилась вместе со своим сыном Николаем в небольшой квартирке\*, которая, на самом деле, была осколком старого

мира –, подлинной и неведомой нам, детям, России. Пока бабушка чаевничала чаевничала с аристократической подругой, нам предоставили возможность рассматривать чудные иллюстрации из дореволюционных фолиантов. Насколько я помню, это были изображения французских гобеленов с самыми разнообразными сюжетами: от охотничьих сцен до дворцовых интерьеров. Внушительные размеры книги, которую мы молча перелистывали, вызывали у нас, малышей, невольный трепет.

Позднее, в юношеские годы, я узнал, что Мария Алексеевна, выселенная из своего дворца, никогда не злилась на советскую власть, не осуждала ее, она просто... ее не замечала. Под стать матери был и сын – Николай: огромного роста, с сократовским лбом, густыми усами и добрейшими глазами за стёклами очков. Он еще ещё школьником имел смелость (в сталинские-то годы!) называть себя монархистом и, казалось, был

---

\* Напротив их родового особняка по Трубниковскому переулку.

неспособен ни на какие сделки с совестью. Более тесно я стал общаться с ним в свои студенческие годы, потому что Николай Николаевич работал в книгохранилище университетской библиотеки на Моховой. О, как он встречал меня на месте своих ученых учёных трудов! В неизменном черном чёрном костюме, обыкновенно сдержанный и даже, на первый взгляд, немного суровый, граф, едва лишь начинал разговор, весь расплывался в улыбке, так что черты его благородного русского лица становились необыкновенно приятными. И особенно запомнились глаза – они суживались и искрились светом дружелюбия, уважения и внимательности к собеседнику, чем мы, молодые люди 70-х годов, не были слишком избалованы.

Николай Николаевич много сил отдавал народившемуся Дворянскому собранию и тяжело вздыхал, видя мелкотравчатость современных ему потомков великих отцов. Ему приходилось до хрипоты отстаивать первый параграф устава Дворянского со-

брания – православное исповедание его членов! О tempora! О mores!21

Вспоминаю, как, прогуливаясь со мной в направлении храма по 2-му Обыденскому переулку, Николай Николаевич говорил с присущей ему манерой вкладывать в каждое слово всю сердечность его удивительной души:

– ТемочкаТёмочка, запомните: чуть только Вам станет плохо, нехорошо, гадко на душе, – тотчас бегите в храм, благодать Божия все всё поправит и образует. Уж пожалуйста, запомните мои слова.

Одно время у нас в доме собирался небольшой кружок ревнителей классических языков. Мы, под руководством «архивного юноши» (Михаила СелезневаСелезнёва), делали первые шаги в чтении Евангелия на греческом языке. Являлся на уроки и смиреннейший Николай Николаевич, с книгой под мышкой. Я украдкой подсмотрел – это оказались записки Юлия Цезаря «О Галльской войне», в подлиннике (то есть на латыни). Когда наступал черед черёд Николая

Николаевича, он весь выпрямлялся, от благоговения, и своим густым, низким голосом трубил (наподобие диаконского храмого чтения Священного Писания): «Мака-а-ри-и (блаженны)...». Нам невольно передавалось его настроение и нелицемерный пиетет к Слову Божию.

Но особенно впечатляло меня его отношение и обращение с супругой Верой. Уже немолодая, с болезненным цветом лица, немногословная, она любила приходить с мужем в храм «Илии Обыденного». Нужно было видеть, как Николай Николаевич бережно вел вёл свою вечную спутницу под локоток, как нежно поддерживал на ступеньках церковного крыльца! Стоя рядом с ней на службе, он воистину походил на Ангела-Хранителя. Николай Николаевич старался предугадать малейшие желания супруги. Чтобы лучше расслышать её, трогательно склонял свою голову, приближая ухо к устам жены. При этом он широко раскрывал глаза, смотря куда-то впередвперёд, и в такт её словам каждый раз кивал, в

знак согласия и готовности тотчас исполнить поручение.

Обращался Николай Николаевич к своей благоверной по-старинному – «душенька». В этом слове – всё его сердце – любящее, заботливое, деликатное, осторожное, сверхпредупредительное...

Он не выносил советскую власть и презирал всё, что с нею связано. Брезгливо морщился, когда приходилось обсуждать так называемую «современную «действительность»». Словом «гадость» он называл (по-детски) то, что было неприятно и неприемлемо для его аристократического вкуса и незамутнённого незамутнённого чувства правды: от пошлых уличных словес, соответствующих им реклам, до политических реверансов и недомолвок, именуемых ныне «толерантностью». Он жил благородно и, как жил, так и отошел отошёл ко Господу своему – с верой и надеждой на воскресение мертвыхмёртвых.

Мог ли я, будучи отроком, думать, что мне, уже как священнику, придется придётся уча-

ствовать в его отпевании в любимом нами обоими Ильинском храме, что в Обыденском переулке?! Он покоился в гробу строгий и торжественный, истинный верноподданный царя земного и Царя Небесного, уйдя с упованием в мир иной и оставшись неоскверненным неосквернённым этим миром, который «лежит во зле лежит»<sup>22</sup>... Почему-то я убеждёнубеждён, что таких людей уже не встретишь на русской земле, хотя верю, народится еще ещё немало хороших и верных сынов Отечества. Ценно то, что Николай Николаевич вместе с Родиной испил горькую чашу страданий, но она они отозвалась отозвались в его благородном и смиренном сердце небесной сладостью спасения...

## СЕРОВЫ

Я уже не раз упоминал, друзья, о старинной, полной тайн и загадок квартире непревзойдённого мастера русского портрета, Валентина Серова, потомки которого жили на Большой Молчановке, в Москве. Общение с ними было для нас всегда праздником. Может быть, еще ещё и потому, что мои родители – «физики», представители строгой научной мысли, а Серовы – типичные «лирики»: музыканты, скульпторы, литераторы. Их всегда окружала особая творческая атмосфера, много отличавшаяся от нашего дома, более спокойного и строгого.

Заводилой был, конечно, сам внук художника, Дмитрий Михайлович Серов, профессор московской, а впоследствии и петрозаводской консерватории по классу рояля. Сколько себя помню, он, красивый мужчина, с внешностью американского артиста (орлиным носом, обаятельной улыбкой), принимал у себя дома многочисленных аспирантов; в гостиной

зале постоянно звучала классическая музыка, раздавался громкий смех и шутки... Успев побывать и потрудиться в Китае, дядя (напоминаю, моя тетка тётка Сусанна вышла за него замуж) был заядлым путешественником, непоседой и балагуром, что, наверное, не так уж легко давалось его домочадцам. В моей памяти осталась удивительная поездка с дядей в Крым, в Судак, когда я первый раз в жизни увидел море. Выжженные крымские горы, прикрытые пологом синего неба, сползающие по склонам виноградники с зеленеющими там и сям незрелыми гроздьями и, конечно, море – неумоеннонеуёмное, то ласковое, то грозное, море, предмет вожделения и детей, и взрослых.

Двенадцатилетним отроком мне довелось ночевать в доме-музее Максимилиана Волошина, с творчеством которого я познакомился лишь много лет спустя. Положив меня на какой-то топчан, смотритель дома доверительно шепнул мне, что на нем нём спал сам Осип Мандельштам, на что я с бла-

годарностью улыбнулся, хотя еще ещё не знал тогда этого имени.

Помню наше авантюрное путешествие в Новый Свет, добраться до бухты которого невозможно, кроме как по страшно опасной тропинке вдоль отвесных скал. Кое-где нужно было прыгать, созерцая под собой бездну и грозно шумевшую у прибрежных скал морскую стихию. С ужасом и внутренним гневом негодованием я следовал за бесстрашным потомком художника, ловко прыгавшим по этой гиблой тропке, представляя себе, что бы сказала моя мама, узнай она, в какие приключения втянул меня обожаемый дядюшка. Слава Богу, все всё обошлось благополучно, но с тех пор я не выношу высоты, руководствуясь мудрым изречением Псалтири: «Небо небесе Господеви, землю же даждь сыновом человеческим»<sup>28</sup>. Кажется, что эта затейливая тропка над пропастью весьма точно изображала стиль жизни Дмитрия Михайловича, подвижного, неутомимого шутника и рискача, а вместе с тем реликтового представи-

теля русской культуры в ее её осколках и остатках.

Не обойду молчанием его двоюродную сестру Ольгу Александровну Хортик, которую за малый рост и удивительно покладистый характер все, даже дети, звали Олечка. Создавалось впечатление, что серьезного серьёзного и полновзвучного имени Ольга для нее неё просто не существовало. Прекрасный знаток французского языка, она, вкупе с Дмитрием Михайловичем, много переводила из литературного наследия французских композиторов, что окружало ее её образ особым ореолом.

А теперь напишу кое-что весьма позорное о себе самом. Олечка вместе с Катей, дочкой Дмитрия Михайловича, нередко бывали в Париже, откуда привозили всякие изящные и диковинные вещи. Сами понимаете, какими глазами мы, желторотые близнецы, смотрели тогда на французские шоколадки, жевательную резинку и прочую ерунду. Как-то раз добрые родственники выполнили наше горячее желание и при-

везли нам... джинсы. Голубые, из грубой материи, прошитые толстыми нитками, – самые настоящие джинсы! Заполучив штаны, я носился с ними, как с писаной торбой. И помнится, перед сном даже поцеловал их и нежно погладил, словно боясь, что к утру они улетят обратно в Париж или растворятся в воздухе! До сих пор мне стыдно за это ребячье идолопоклонство, в котором, кстати, я позже сердечно покаялся на своей первой исповеди! Какие только глупые пристрастия ни завладевают бессмертной человеческой душой, лишенной лишённой Божественного света веры и разума, молитвы и любви ко Христу!

В завершение расскажу о знаменитой картине художника «Похищение Европы», которая (как знают читатели) висела у Серовых в гостиной зале. Помню, мальчиком я всматривался в это бездонное полотно и с тревогой наблюдал следил глазами за античным Зевсом, в образе могучего быка, который похищает прекрасную Европу, смуглую волоокою девицу, опустив-

шую колена на холку животного и держащуюся рукой за его изогнутый рог. Вал за валом накатывают волны на отважных путешественников; морская пучина грозитя поглотить их обоих, но бык, уверено рассекая воду своей мощной грудью, твердо твёрдо держит курс в неизвестном мне направлении. «Куда, куда ты удалилась?» – теперь вопросил бы я заворожённую античным кумиром Европу... «Что ищешь ты в стране далекойдалёкой, что кинула в краю родном?» Тогда, будучи отроком и сочувствуя прелестной Европе, я, безусловно, не мог понять и осмыслить её трагического отступления от исконной христианской веры во тьму языческих представлений и заблуждений...

А все всё же многому, многому может научить нас, русских, некогда просвещенная просвещённая Европа. И уважению к закону, и трепетному отношению к культуре, умению бережно сохранять исторические памятники, и благородной сдержанности, такту в человеческих отношениях. Боюсь,

однако, что главное (уже не юная, а одряхлевшая в своем своём земном странствовании) Европа потеряла – живую и зрячую веру в победителя Победителя смерти Христа и любовь к Его прекрасной Невесте – Матери нашей Церкви. Утерев главное, сумеет ли гордая Европа сохранить второстепенное, то, что было перечислено мною выше? Я не пророк, но опасаясь, что с живой водой подлинного христианства она, бедная, готова выплеснуть и своего ребенка ребенка – силу законной правды и «любовь к отеческим гробам», красоту внешних форм и культуру человеческого общения.

Надвинувшийся на нас XXI век, с его пресловутой «эрой водолея» и постмодернизмом как стилем жизни, вполне доказывают это...

## ЗАВЕЩАНИЕ

Говорят, что последняя воля умирающего священна. Значит, и слова, сошедшие с уст того, кто готовится к исходу из временной жизни, обладают вещей силой. Конечно, не всякие слова, но произнесенные произнесенные с особой значимостью, с сознанием их важности для ближних, которые остаются жить. Впрочем, есть еще и главное условие непреложности такого предсмертного наказа – жертвенная любовь. Если любовь, бессмертная по своей природе, одушевляет завещателя и его наследников, если духовное родство сплавливает их в единую семью и Сам Бог невидимо им сопутствует, – вот тогда последнее слово умирающего становится вечным двигателем движущим импульсом в жизни преемников.

Наша бабушка серьезно серьезно заболела ко времени окончания нами, близнецами, средней школы. С Насколько мне мне помнится помнится, она курила всегда, и

только смертельная болезнь (рак легких лёгких) избавила ее её от этой привычки. Еще Ещё в отроческие годы я пытался из чувства протеста прятать от Були любимые ее её папиросы («Казбек»), но мои детские усилия вмешаться в ситуацию не принесли тогда успеха. Редко-редко кто из людей, нами чтимых и любимых, не обнаруживает в годы земного странствования той или иной греховной немощи – как будто в подтверждение старого, как мир античного изречения: *errare Errare humanum est*<sup>31</sup>.

Необходимо сказать, что бабушка вернулась к благодатной жизни Православия-Церкви незадолго до своей кончины. Никогда не порывая с Церковью-верой, она в молодости отошла от храма и его таинств, как и большинство современников в ту страшную эпоху, насквозь пронизанную духом безбожия. Нет-, нет, от Христа она не отрекалась никогда! Но нас, внуков, почти не пыталась приобщить к вере, за исключением исключением кратких хождений к Пасхальной заутрене. Впрочем, один раз Буля

решилась-таки пойти со мною в храм... Что из этого вышло, вы, читатели, уже знаете из предшествующей предшествующих главы.

Сейчас мне вспоминается, как бабушка в последние годы своей жизни делилась с домашними своими впечатлениями от воскресной Божественной литургии. «Я была сегодня в храме (пророка Илии, что во 2-м Обыденском переулке, где мы жили близ улицы Остоженки) и причастилась! Как же хорошо и радостно на сердце!» – смущенно смущенно улыбаясь, говаривала она, как бы желая поделиться с нами той сокровенной радостью, которой окрылялась на склоне лет ее её душа. Никто из нас, троих внуков, не считал нужным ни понять, ни принять эти слова Булиного признания. Мы их просто не слышали, то есть они не вмещались в наши сердца, как будто наглухо законопаченные и закрытые на засовы от благодатного свидетельства веры. Не без раздражения я исподлобья смотрел тогда на бабушку, глаза которой светились изнутри неведомым для нас счастьем.

Но вот пришел пришёл Богом определенный определённый час...

Взрослые всячески оберегали нас, подростков, от трагических известий. Мы только знали, что бабушку поместили в больницу. Неделю спустя нам сообщили, что Буля желает нас видеть. Помню, что все трое хранили молчание до тех пор, пока не вошли в палату, где лежала бабушка. Она, как всегда, встретила нас улыбкой, расцветшей при виде внуков, на похудевшем, исстрадавшемся лице... О, эта дивная улыбка! Она мгновенно сняла с мальчиговых душ коросту себялюбия и равнодушия, растопила сердца до самой их запретной глубины, заставила нас почувствовать себя детьми, любимыми и любящими! Медсестра, как я узнал впоследствии, признавалась моей маме, что она никогда не видела подобную подобной больнуюбольной. Бабушка ни за что не хотела утруждать персонал своими просьбами и всякий раз так благодарила сестер сестёр за малейшую услугу, что тем становилось неудобно, ведь они механически выполняли свою рутинную работу.

От бабушки остались одни глаза. Но какое обилие жизни изливалось через них! Это были не глаза угасающей пожилой женщины, но очи, очи небожителя, не подвластного уже ни страху, ни смерти. Свет, исходивший из них, лился потоком в наши испуганные юные души и, казалось, озарял покуда еще ещё не найденную дорогу земного бытия. Бабушка, устремив на нас любящий взор, внятно сказала: «Дети мои, я хочу, чтобы вы выросли хорошими людьми...». Мы заплакали, как и сейчас я плачу, запечатлевая на бумаге эти простые, святые слова...

Буля поцеловала нас, мы вышли из больницы палаты. Это было ровно тридцать три года тому назад 32\*. Бабушкино завещание, уместившееся в одно предложение, и поныне связует меня с нею золотой, нерасторжимой нитью любви. Дай Бог, чтобы она не оборвалась никогда. Верю: никакие силы не смогут рассечь, низложить то, что сказано, воззвано к бытию Божественной любовью...

---

\* 32 — К моменту написания этой главы...

## КОНЧИНА

Весть о кончине бабушки застала нас, внуков, сидящими... перед телевизором. Чемпионат мира по футболу совершенно захватил меня в плен, и страшное известие о смерти родного человека не оторвало школьника от футбольных страстей.

Отчего так? От душевной неразвитости, эгоизма, сосредоточенности лишь на себе и своих переживаниях? Несомненно. А может быть, я еще ещё не был готов осмыслить происшедшее и остаться один на один с зияющей пустотой потери. Очевидно, и лукавый не дремал, делая все, чтобы запорошить сознание суетой. Не дать уму опуститься глубже, в сердце, которое Всемилостивый Господь уже вызволял из-под гнета гнёта неверия.

Как часто лишь тяжелые тяжёлые удары молота по наковальне способны произвести желаемые изменения в затвердевшем материале! Поистине, «Бог в тяжестях Его знаем

есть»... 33\* Помню, что матч закончился, потух экран телевизора, вместе с эмоциями победивших и проигравших, а действительность, жизнь, открывавшая нам, внукам, таинственную дверь в вечность, осталась. Не осталась, а вступила в свои права, охватила нас со всех сторон, поставив перед собственной совестью и разверзшимся небом, которое дотоле представлялось глухой, непроницаемой стеной. Я поспешно удалился в свою комнату и бросился ничком на кровать, может быть, инстинктивно пытаюсь «забыться и уснутьзаснуть».

Ни сна, ни отдыха не было. Кровь стучала в висках, сердце билось, как после долгой быстрой ходьбы, лихорадочно работала мысль. Что это? Что произошло? Неужели всё свершилось на самом деле, может быть, произошла ошибка, имела место выдумка? Но душа чувствовала таинство смерти и отметала подобные предположения. Никогда дотоле мы, мальчишки, не сталкивались с подлинными скорбями, а тем паче с траге-

---

\* 33 Пс. 47, 4.

диями. Жизнь ласкала нас, как мягкие, теплые тёплые волны прибоя, накатывая которые тихо накатываются на пологий берег, нежно касаются касаясь человеческих ступней. Да, случались беды и неприятности, была физическая боль, но взрослые, всегда окружавшие нас заботой и любовью, умели снимать напряжение своим мудрым словом и успокаивающей улыбкой.

Это была первая ночь в жизни, которую я провел провёл без сна. Безусловно, невозможно воспроизвести на бумаге всевсё, что теснилось в сердце и восходило тогда на ум пятнадцатилетнему мальчишке. Под утро, взирая на занимавшийся рассвет и выплакивая остатки душевной черствости чёрствости по отношению к такой родной и такой близкой по её кончине Буле, я изумился мысли, которая вдруг пронзила мое моё сознание: «Не верю, что ее её нет! Мое Моё сердце только-только в полной мере осознало, насколько я ее её люблю! Эта любовь греет и умирят мою кровотокающую скорбью душу! Любовь не может быть на-

правлена в никуда! Я чувствую любовь Були ко мне! Любовь соединяет наши сердца и живит их! Значит, бабушка не умерла, но ушла! Она сейчас где-то, но уже не здесь...».

Эта ночь, проведенная проведённая не в молитвах, а в слезах и беспорядочных судорогах мысли, стала для меня судьбоносной. Не путем путём логических умозаключений, а устремлением сердца к родному и бесконечно дорогому человеку, ушедшему в мир иной, я прозрел духовно. Мысль, словно цыпленокцыплёнок, находившаяся находившийся дотоле в скорлупе чувственного восприятия видимого мира, – проклюнулась, пробилась сквозь его оковы и тенеты. Она выпорхнула на совершенно незнакомые просторы мира невидимого, духовного! Бабушка, некогда не сумевшая удержать мою руку на пороге приходского храма, в эту ночь ввела меня в нерукотворный храм веры, едва лишь сама вошла своей душой душою в вечность!

Сейчас я бы назвал всё происшедшее со мною родами, с тем только отличием, что

утробный младенец не сознает сознаёт ничего из происходящего. До сих пор я храню воспоминание о тёмной туче – скорби, сдавившей сознание железным обручем! Это были «родовые схватки», при которых душа вздымалась и опускалась в желании найти выход из мрачной темницы неверия. Собственно, неверием отравлен был ум, а сердце... сердце жаждало веры в победоносную силу Христовой любви, которая некогда разорила и отверзла настежь врата смерти! Сейчас я понимаю, что разбил эти замки и отодвинул заржавевший засов со створок сердечной клетки Сам Христос ИскупительСпаситель, прикосновением Своей нетленной десницы просветивший мою душу благодатью! Новорожденный Новорождённый младенец сначала плачет, едва лишь с мучительными трудами выйдет из материнской утробы, а затем начинает дышать ровнее и мало-помалу совершенно успокаивается, прильнув к родительской груди. Таков был и я в ту темную тёмную ночь, которая, наконец, уступила место забрезжив-

шему на горизонте рассвету.

Душа родилась/возродилась! Пройдя сквозь Сциллу и Харибду неверия и самолюбия, сквозь «огонь и воду» скорбей и слез, моя бессмертная душа увидела, как над ней таинственной Рукой был отдернут отдернут полог зримого мира, и она вошла – всем своим существом – в мир невидимый. Это было обретением сначала собственного сердца, а потом и рассудка, сдавшегося под напором любви, которая не требует никаких иных доказательств, кроме самой себя. В то утро на меня снизошла благодать, и невозможное сделалось возможным. В поисках восстановления общения с бабушкой, я обрел обрёл Бога, Которого еще ещё не знал и не называл по Имени имени, но Он уже простер простёр мне Свои милостивые объятия, исхитив из непроницаемого мрака – неверия и отчаяния – в Свой чудный Божественный Свет... Наступило время дальнейших поисков. Они уже были озарены живительной надеждой на встречу...